



**рыцарь
и смерть,**

или Жизнь как замысел

О судьбе Иосифа Бродского

яков
горцын

Яков Гордин

**Рыцарь и смерть, или
Жизнь как замысел: О
судьбе Иосифа Бродского**

«WebKniga»

2010

Гордин Я. А.

Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: О судьбе Иосифа Бродского / Я. А. Гордин — «WebKniga», 2010

Книга Якова Гордина объединяет воспоминания и эссе об Иосифе Бродском, написанные за последние двадцать лет. Первый вариант воспоминаний, посвященный аресту, суду и ссылке, опубликованный при жизни поэта и с его согласия в 1989 году, был им одобрен. Предлагаемый читателю вариант охватывает период с 1957 года – момента знакомства автора с Бродским – и до середины 1990-х годов. Эссе посвящены как анализу жизненных установок поэта, так и расшифровке многослойного смысла его стихов и пьес, его взаимоотношений с фундаментальными человеческими представлениями о мире, в частности его настойчивым попыткам построить поэтическую утопию, противостоящую трагедии смерти.

© Гордин Я. А., 2010

© WebKniga, 2010

Содержание

ОТ АВТОРА	6
I	8
Гибель хора	8
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Яков Аркадьевич Гордин

Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел. О судьбе Иосифа Бродского

В культуре, как и в пещере пустытника, человек соучаствует в космической брани. Его призвание трагично и нет ничего противнее трагическому жизнеощущению, как сомнение, раздумье, элегическая резиньяция. Сквозь хаос, обступивший нас и встающий внутри нас, пронесем нераспесканным героическое – да: Богу, миру, людям.

Георгий Федотов

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не заби́ли глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.

Иосиф Бродский

ОТ АВТОРА

Предлагаемая читателю книга – попытка воссоздать, прежде всего для себя, облик Бродского – поэта и человека в их органическом единстве. Это попытка понять жизненную стратегию Бродского, определившую резкую особость его судьбы.

Тексты, собранные под этой обложкой, были написаны на протяжении двадцати лет – как при жизни героя, так и после его ухода.

Существует такое понятие – ответственность осведомленности. Именно это чувство и заставляло меня каждый раз браться за работу. Особенно это относится к первой части книги, которую условно можно назвать мемуарной.

Как известно, ситуация с написанием биографии Бродского и воспоминаний о нем существенно осложнена его собственной позицией.

В 1994 году, составив завещание, он приложил к нему письма, в котором говорил:

«Просьба к моим друзьям и родным не сотрудничать с издателями неавторизованных биографий, биографических исследований, дневников и писем».

В частных письмах он высказывался еще категоричнее:

«Жизнь мою, то есть физическое существование моей личности, я просил бы и Вас, и всех тех, кто интересуется моим творчеством оставить в покое».

Или еще определеннее:

«Я не возражаю против филологических штудий, связанных с моими худ. произведениями – они, что называется, достойные публики. Но моя жизнь, мое физическое состояние, с Божьей помощью принадлежала и принадлежит только мне... Что мне представляется самым дурным в этой затее, это – то, сто подобные сочинения служат той же самой цели, что и события в них описываемые: что они низводят литературу до уровня политической реальности. Вольно или невольно (надеюсь, что невольно) Вы упрощаете для читателя представление о моей милости. Вы – уже простите за резкость тона – грабите читателя (как, впрочем, и автора). А, – скажет французик из Бордо, – все понятно. Диссидент. За это ему Нобеля и дали эти шведы-антисоветчики. И „Стихотворения“ покупать не станет... Мне не себя, мне его жалко».

Собственно, в последнем пассаже основная разгадка жесткой позиции Бродского. Он боялся, что мир поэтический будет подменяться миром политическим. «Я отказываюсь это драматизировать!» – раздраженно ответил он на вопрос Соломона Волкова о суде и ссылке. Он не желал, чтобы сложилось впечатление, будто его колоссальная духовная работа определялась чисто внешними обстоятельствами.

Был и еще один внятный повод для тяжелых опасений – он смертельно боялся вторжения в его личную жизнь. Он смертельно боялся, что высокая драма его бытия будет снижена до уровня пошлого быта.

Он не хотел, чтобы его противостояние несправедливости мироустройства сводилось к противостоянию власти, которую он презирал.

Думаю, он догадывался о невозможности закрыть от поколений читателей свою «физическую жизнь», но пытался минимизировать возможный ущерб.

Сам он в многочисленных интервью, автобиографических эссе, беседах с Соломоном Волковым выстраивал свою версию собственной жизни. Я пишу об этом в эссе «Версия прошлого». При этом он не мог не понимать, что дает будущим биографам обильный материал.

Этот страх перед теми, кто будет кроить его жизнь по своим лекалам, усилился именно в последние годы. Когда в 1989 году я написал и опубликовал очерк «История одной расправы» – о травле и суде, – и послал Бродскому, он отнесся к этому вполне благосклонно.

Надо понимать – случилось бы то, что случилось в 1963–1965 годах, или не случилось, он стал бы поэтом именно того масштаба. Каким он и стал. Разумеется, характер его творческой работы второй половины жизни был бы иным, но его одаренность никуда бы не делась.

Надо помнить, что к моменту ареста и ссылки он был уже автором «Шествия», «Рождественского романса», «Холмов», «Большой элегии Джону Донну», «Исаака и Авраама», «Столетней войны», и многого другого. Он был сложившимся большим поэтом.

В данной же книге я и стараюсь прежде всего показать, что имманентно присущие его личности свойства давали ему возможность существовать не просто вопреки, но поверх враждебной реальности и внутренне не зависеть от обстоятельств. Сочетание личных воспоминаний, призванных дать представление об уникальности натуры Бродского, с эссеистикой, анализирующей некоторые из ведущих его идей, надеюсь, в какой-то степени решают эту задачу.

Появление как биографических штудий, так и воспоминаний, посвященных Бродскому, неизбежно, вне зависимости от его позиции. Вопрос в качестве этих штудий и корректности воспоминаний.

Образцом биографии, на мой взгляд, стала книга нашего с Бродским покойного друга Льва Лосева, изданная в ЖЗЛ.

Опасения Бродского печально подтвердились. Его «физическое существование» оказалось достоянием фантазий – как безобидных, так и отвратительных, равно как и мишенью беспардонной клеветы. И было бы непорядочно, если бы те, кто искренне любил его при жизни и остался верен ему после его ухода, скрывали свое знание. Не вторгаясь, естественно, в те области, которые он сам считал запретными. Это тем более необходимо, что людей подобного толка становится все меньше.

Ответственность осведомленности.

Автор и издательство благодарят

Фонд Наследственного Имущества Иосифа Бродского

за разрешение на публикацию

фрагментов не публиковавшихся стихотворений.

I

ЖИЗНЬ КАК ЗАМЫСЕЛ

Гибель хора

Независимость – лучшее качество, лучшее слово на всех языках.
И. Бродский. Из письма автору. 1965

В настоящей трагедии гибнет не герой – гибнет хор.
И. Бродский. Нобелевская лекция

Если начинать с самого начала, то мы с Иосифом Бродским познакомились в 1957 году. Я недавно демобилизовался и поступил в университет (откуда, впрочем, ушел с четвертого, уже заочного, курса). Иосиф же, который был моложе меня на пять лет, проходил другие университеты. Окончив семилетку, он работал на заводе, потом кочегаром в котельной (в отличие от более поздних времен, это была настоящая кочегарская работа), санитаром в морге, коллектором в геологических экспедициях.

История с уходом Иосифа из школы многократно описана и им самим, и другими в той или иной степени знавшими его людьми. Этот эпизод стал, так сказать, каноническим.

Между тем далеко не все тут ясно. Одноклассница Иосифа Инна Турина, живущая ныне в Америке, некоторое время назад прислала мне свои воспоминания, которые, несмотря на отдельные неточности, существенно корректируют наши представления о школьной эпопее.

«В 1948 году я попала в 1-й класс. Меня, так же как и Осю, часто перебрасывали из школы в школу. Училась я на Моховой, потом на Гагаринской (Фурманова), а потом опять на Моховой в школе № 191 по адресу Моховая, д. 26. Школа находилась в третьем дворе этого дома.

В эту школу в 9-й класс и пришел к нам Ося Бродский... Ося заметно отличался от остальных ребят. Он был высок, полноват и выглядел немного старше других, хотя из-за войны многие ребята начинали учиться с 8 лет и были Осиными ровесниками. Большинство мальчиков донашивали уродливую серую школьную форму, часто в заплатках. Ося же был одет хорошо, аккуратно. Как у многих рыжих, цвет лица у него был здоровый, розовый, кожа чистая, и это тоже отличало его от нас остальных – бледных и худющих.

Ося проучился весь год в 9-м классе, сдавал экзамены, а после окончания занятий поехал с ребятами в колхоз.

Я не смогла поехать из-за болезни. После колхоза Нора (Э. Ларионова) вернулась с сияющими глазами и сказала: „Жаль, что ты не могла поехать. Ося нам читал стихи“.

Из воспоминаний Инны Туриной, одноклассницы Бродского

Воспоминания Инны Туриной заставляют по-иному взглянуть на школьную эпопею Бродского. Тот факт, что он учился с 1 сентября по 5 ноября 1955 года в 8 классе 289-й средней школы, засвидетельствован справкой директора школы. Сам Бродский неоднократно говорил о том, что он ушел из 8-го класса и поступил на завод. И факт его работы на заводе «Арсенал» задокументирован «Личной карточкой» отдела кадров. Там записано, что Бродский поступил на завод учеником фрезеровщика 11 апреля 1956 года, а 18 июля того же года стал фрезеровщиком 3-го разряда. И уволился 8 января 1957 года.

Но если Иосиф поступил на завод после 289-й школы, а больше в школе не учился, то совершенно непонятно, откуда взялись персонажи цикла «Школьная антология», учившиеся в 191-й школе. Личная карточка отвечает на этот вопрос. В графе «Место последней работы и занимаемая должность» записано: «Учащийся 191-й школы».

Таким образом, все становится на свои места. В своих интервью Иосиф несколько «спрямил» ход событий. Он не просто ушел из школы. Он, скорее всего, перешел из 289-й школы, находившейся на Нарвском проспекте – далеко от нового места жительства, в 191-ю, которая располагалась в нескольких минутах от Дома Мурузи – на Моховой улице. А уже оттуда ушел в апреле на завод. Справка от 25 августа 1956 года о выбытии его из школы для поступления на работу могла быть оформлена задним числом. Но могло быть и другое.

Иосиф упоминал в интервью, что некоторое время учился в вечерней школе. Поскольку герои «Школьной антологии» учились в дневных классах, то есть основания предположить, что в 191-й школе могли быть и вечерние классы и что Бродский, поступив учеником на завод, некоторое время учился вечерами. Тогда, как и утверждает Инна Турина, он мог сдать весенние экзамены. А что до колхоза, то, скорее всего, он просто навещал там своих вчерашних одноклассников и одноклассниц.

Инна Турина наверняка ошибается в одном – она сдвинула события на год. Бродский учился с персонажами «Школьной антологии» в 8-м классе. Это подтвердил в беседе со мной и соученик Туриной и Бродского – один из героев «Антологии» – Олег Поддобрый.

Обстоятельства нашего знакомства, опасаясь, останутся исторической загадкой. Когда, уже в 1990 году, мы в его деревенском доме в Массачусетсе пытались эти обстоятельства восстановить, то нам это не удалось. Смутно помнится, что это могло произойти в редакции газеты «Смена», ранней осенью.

В диалоге с Соломоном Волковым¹ после фраз о нашем с ним знакомстве как одном из первых его литературных знакомств Иосиф сразу переходит к воспоминанию о чтении своих стихов в литобъединении «Смены». И это тоже некое полусознанное указание.

Иосиф говорит, в частности:

«Руководили этим объединением, помнится, два несчастных человека. Это я вместо того, чтобы сказать „два больших мерзавца“».

В данном случае Иосиф – если воспользоваться бессмертной формулой Валерия Попова, – «суров, но несправедлив».

В «Смене» в том же пятьдесят седьмом году, летом, я познакомился с Сергеем Вольфом, которому вернули его рассказы, равно как и мне мои стихи.

В тот день Вольф долго читал мне стихи своих приятелей – запомнил я только Владимира Уфлянда...

У меня нет ни желания, ни права заниматься здесь мемуаристикой в полном смысле этого слова. Я претендую только на то, чтобы в необходимых пределах дать читателю представление о личности молодого Бродского, – без этого не обойтись. Главное же – уловить суть тогдашних событий. А читателя прошу воспринимать мой – не документальный – текст как комментарий свидетеля, волею обстоятельств стоявшего вплотную к этим событиям и даже пытавшегося принимать в этих событиях посильное участие.

Определяющей чертой Иосифа в те времена была совершенная естественность, органичность поведения. Смею утверждать, что он был самым свободным человеком среди нас – небольшого круга людей, связанных дружески и общественно, – людей далеко не рабской психологии. Ему был труден даже скромный бытовой конформизм. Он был – повторяю – естествен

¹ Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998. С. 34.

во всех своих проявлениях. К нему вполне применимы были известные слова Грибоедова: «Я как живу, так и пишу, – свободно и свободно».

Это свойство бытового поведения, создававшее, как всякому понятно, немалые трудности для самого Бродского и для тех, кто окружал его (я могу писать об этом со спокойной душой, поскольку мы с Иосифом не поссорились ни разу), непосредственным образом связано было и с характером дарования Бродского. Но об этом несколько позже.

Второй, не менее важной его чертой тех лет кажется мне максимальная интенсивность проживания любой ситуации – как бытовой, так и интеллектуальной. Эта интенсивность проживания и восприятия – в совокупности с общей необычайной одаренностью – сделала Бродского к двадцати четырем годам по-настоящему образованным человеком, легко овладевавшим иностранными языками – самоучкой! – знатком не только русской и советской, но и польской, и англоязычной поэзии. В то же время интенсивность эта и привлекала, и пугала окружающих. Уже тогда можно было услышать оценки его личности (даже от людей, высоко ценивших его дарование) вполне противоположные.

Свобода, в том числе и внутренняя, даром не дается. (Да простится мне эта необходимая банальность.)

Две эти черты заставляли Бродского вести себя, на взгляд многих, особенно людей скованного сознания – я уже не говорю о сознании охранительном, – совершенно дико, вне общепринятых правил игры.

В 1958 году Иосиф стал часто бывать на филфаке университета. Наш общий приятель Игорь Смирнов вспоминал:

«В 1958 году я учился на вечернем отделении ЛГУ. Я жил около Финляндского вокзала и зимой после работы на заводе добирался из дома до Университета на 47-м автобусе. Бродский жил в знаменитом доме Мурузи... Мне с ним было по пути... Трудясь, как и я, днем, Бродский посещал вечерами семинар по истории КПСС, который был для меня обязателен, а для него, вольного слушателя, просто интересен – чем именно, мне было поначалу просто непонятно. С руководительницей семинара он спорил о сталинском определении нации, все еще считавшемся непоколебленным. С изумлением я заметил, что доцентша не донесла на Бродского. Полемика с партийными догмами как раз перестала быть наказуемой. Бродский испытывал терпение дамы, которая несколькими годами раньше могла засадить его в лагерь. Другой причины для его приходов в этот семинар, не снабжавший нас никакими знаниями, я не вижу».

Но Иосиф бывал не только на семинаре по истории КПСС. Он сживал и на общих лекциях по западной и русской литературе. А марксизм его интересовал – как и многих из нас, – по одной простой причине: хотелось понять – есть ли в нем, очищенном от советской шелухи, какое-либо рациональное зерно. Тем более, что читать некоторые, особенно ранние, работы Маркса было довольно увлекательно. А уж энгельсовский «Анти-Дюринг», чрезвычайно лихо написанный, подкупал остроумием и полемической яркостью.

С конца того же года у Иосифа появилась еще одна причина стать завсегдатаем Филфака. В октябре мы вернулись с целины. Я, как прошедший армию и превосходивший многих своих однокашников, а тем более однокашниц, по возрасту, был бригадиром. По возвращении я познакомил Иосифа с девушками из своей бригады – Алей Друзиной и Олей Бродович. А через них он, естественно, свел знакомство и с их подругами.

Оле посвящена ранняя лирика Иосифа. С Алей Друзиной связан характерный для него эпизод.

Во время одного из интервью Иосифа спросили – кому посвящено одно из самых известных его ранних стихотворений «Стансы». Он ответил, что не помнит. По какой-то причине ему не хотелось называть имена, хотя ни Лену Валихан, ни Алю Друзину, адресата исполненного

взволнованной нежности «Письма к А. Д.» он, разумеется, забыть не мог. Никаких романтических отношений с Алей у них не было, но он относился к ней именно с дружеской нежностью. Быть может, и потому, что с ней были связаны воспоминания о самых хороших для него российских временах: конце пятидесятых – начале шестидесятых годов – до начала травли: бурный успех у слушателей и читателей самиздата, новые яркие знакомства и дружбы, и не только дружбы – в частности, отношения с Олей Бродович, соученицей по университету и подругой Али. В июне 1978 года Ося оказался пролетом в Рейкьявике. Там же жила и Аля, вышедшая замуж за исландца – рослого, спокойного Халдора Вильямсона, очень симпатичного человека. Аля в это время находилась в роддоме после очередных родов – у нее четверо детей.

Она сохранила письмо Иосифа, свидетельствующее о неизменности его к ней отношения. Вот фрагмент из письма:

«Аля, милая, совершенно идиотская история вышла: этот Бергман, говоря – как я только теперь понял – про тебя, то ли перепутал, то ли переврал твою фамилию. И, конечно же, я решил, что это кто-то другой. Никогда себе этого не прощу. Я бы просто в роддом пришел, прибежал бы. Пока вот тебе две книжечки. Авось что-нибудь в них тебе понравится. Я все еще занимаюсь этим идиотским ремеслом, как видишь. Господи, как все дико: ведь почти двадцать лет. Целуем Вас нежно и как бы поздравляем с двойняшками. Твой Иосиф».

По отношению к тем, кого он любил, он мог быть трогателен и сентиментален.

Судя по названной им цифре – «почти двадцать лет» – он точно помнил время знакомства: ноябрь 1958 года.

Вернемся, однако, на двадцать лет назад.

Ему, жадному до всякого звания, было, конечно же, интересно на факультете. Но именно здесь произошло событие, впервые, я уверен, обратившее на Бродского внимание властей. И я был тому виной.

В конце 1958 года я делал на заседании студенческого научного общества доклад на тему «„Звериность“ в поэзии двадцатых годов», на материале творчества Сельвинского и Луговского («Звериность – это цветение сил...» – И. Сельвинский). На заседание я пригласил Бродского. Неожиданно для меня восемнадцатилетний Иосиф бестрепетно выступил в прениях по докладу и начал свое выступление с цитаты из книги Троцкого «Литература и революция». Согласимся, что для пятидесят восьмого года, когда имя Троцкого было под строжайшим запретом, а книга как бы не существовала, это был нетривиальный поступок. Причем я уверен, что Бродский вовсе не собирался кого-либо эпатировать, – просто он только что прочитал книгу и счел, что какой-то ее тезис важен для идущей дискуссии.

Надо было видеть, что сделалось с руководителем СНО профессором Наумовым. Я испугался, что Евгений Иванович умрет на месте. Его филиппику против Иосифа совершенно невозможно было понять, потому что от ужаса и ярости он постоянно путал фамилии Бродский и Троцкий.

После журнальной публикации этого очерка некоторые ученики Наумова сочли, что я зря обидел Евгения Ивановича, а один из них написал о своей обиде в «Ленинградской правде».

Разумеется, человек поворачивается в разных ситуациях разными сторонами своей натуры. И Евгений Иванович, очевидно, заботился о своих учениках. Хотя, убейте меня, не понимаю, чему мог он научить. Я тоже некоторое время посещал семинар, который он вел. И самое сильное мое впечатление – занятие, посвященное Пастернаку. Это было во время скандала с «Доктором Живаго», и Евгений Иванович клеймил Пастернака за его «всегдашнюю аполитичность и равнодушие к судьбе страны». «Вы подумайте! – восклицал он чрезвычайно патетически. – Идет война, страна истекает кровью, а он пишет: „На столе стакан недопит“...» Придя домой, я проверил – стихи эти были написаны в 1936 году... Евгений Иванович был

человеком начитанным. Он просто обманывал студентов, рассчитывая на их неосведомленность.

За одно я Евгению Ивановичу, однако, благодарен. Когда на исходе второго курса филфак мне изрядно надоел, а мой приятель, работавший в НИИ геологии Арктики, Боря Генин предложил мне поехать вместе с ним в экспедицию – там нужны были люди, – и я стал пытаться перенести весеннюю сессию на осень, наш завкафедрой Федор Александрович Абрамов отнесся к этой идее весьма скептически.

Но когда я обратился к Евгению Ивановичу, то он горячо и радостно меня поддержал, немедленно написал – он был болен и я пришел к нему домой, – письмо декану Игорю Петровичу Еремину, очевидно, столь убедительное (я передавал его в запечатанном конверте), что Еремин без возражений подписал мое прошение.

Полагаю, что когда Евгений Иванович услышал, куда я собираюсь, – а Биректинская экспедиция НИИГА работала тогда за Полярным кругом в Северной Якутии на Анабарском щите, – то у него появилась надежда, что я и не вернусь из этих Богом забытых мест и перестану осложнять ему жизнь...

Как бы то ни было, именно вмешательству Евгения Ивановича я обязан радикальной переменой своей судьбы, – вернувшись осенью, я перешел на заочное отделение, – и замечательными пятью годами работы на Севере...

Евгений Иванович, судя по всему, был не худшим среди тех, кто наводил порядок в нашей литературе в конце сороковых годов. Он не был фанатиком, он был циником. И большого размаха конъюнктурщиком. А еще Салтыков-Щедрин говаривал, что из фанатика и циника он всегда выберет циника. Так что по-своему мои оппоненты правы. Жаль мне только тех бедных студентов, которых профессор Наумов, обладая несомненными ораторскими способностями (при отсутствии, на мой взгляд, научных), духовно обирал, поднося им литературу в вульгарно-советском виде.

Надо, правда, в конкретном описанном случае учесть и его искренний ужас – во вверенном его попечению студенческом научном обществе звучала недопустимая крамола. Он обязан был реагировать...

Однако всех этих чисто советских резонов Иосиф не понимал и понять не мог (как, впрочем, и автор данного очерка в те времена). Это был не его мир. Он жил по иным правилам.

Уверен, что непримиримость ленинградских властей к Иосифу в начале шестидесятых годов вызвана была не столько его стихами, которые казались им малопонятными и не содержали никаких политических деклараций, сколько именно стилем его общественного поведения, основанным на свободе и органичности в весьма интенсивном варианте. Он не совершал, разумеется, никаких противоправных поступков (даже соседи по коммунальной квартире дали ему после ареста наилучшую характеристику), просто в условиях, скажем, резко ограниченной свободы он жил как свободный человек. А это пугает и раздражает².

То же чувство свободы жило в его стихах. При всем желании в них невозможно было вычитать никакой антисоветской агитации – за исключением нескольких строк в «Шествии» (поэтому в шестьдесят четвертом году, как мы увидим, организаторам травли пришлось прибегнуть к грубой фальсификации), но духовные и административные отцы города явственно ощущали несовместимость со своим мировидением этих непривычных стихов, которые казались особенно опасными из-за личности автора. Позже Иосиф отчетливо обозначил этот неполитический аспект проблемы: «Поэт наживает себе неприятности ввиду своего

² Дело Шахматова – Уманского, по которому Иосиф был задержан в 1962 году, но проходил как свидетель, нуждается еще в тщательном изучении. См. публикацию С. Шульца в № 5 «Звезды» за 2000 г. и очерк Б. Вайля «Шахматов – подельник Бродского» в № 1 «Звезды» за 2010 г.

лингвистического и, стало быть, психологического превосходства, а не по политическим причинам. Песнь есть форма лингвистического неповиновения».

Бродский с пятьдесят восьмого – пятьдесят девятого года много выступал публично, главным образом в студенческих аудиториях. Мне тогда не раз случалось выступать с ним или присутствовать на его выступлениях, и я могу засвидетельствовать – успех был неизменным и полным. Те черты его личности и поведения, о которых шла речь, реализовались в то время не только в тексте его стихов, но и в манере чтения. Она была неотразима и воздействовала на слушателей сильнейшим, подавляющим образом. (Хотя у Бродского тогда уже были противники, эту манеру высмеивающие.) Картавость, некоторая невнятность произношения, интонационное однообразие зачина забывались немедленно. Бродский мог достигнуть такой интонационной интенсивности, что слушателям становилось физически дурно – слишком силен оказывался напор.

Но суть была не в том. Чтение Бродским своих стихов было жизнью в стихе. Перед слушателями происходило уникальное и потрясающее явление – абсолютное слияние личности и результата творчества, казалось бы, уже отделившегося от этой личности. Происходил некий обратный процесс – стихи снова воссоединялись с поэтом. Это не было воспроизведение, исполнительство – пусть самое высокое. Это было именно проживание поэзии.

Интенсивность личности и соответствующая манера чтения Иосифа иногда определяла неприятие его стихов даже людьми широкими и понимающими, но ориентированными на иной стиль существования. 14 февраля 1960 года в ленинградском Дворце культуры имени А. М. Горького состоялся так называемый «турнир поэтов», довольно нелепое мероприятие, в котором, однако, приняли участие и А. Кушнер, и Г. Горбовский, и В. Соснора, и многие другие бурные и небурные гении того периода. Автор этих строк тоже выступал на данном ристалище (и даже разделил с кем-то второе место – первое не получил никто) и потому был умиленным свидетелем происходящего.

Иосиф прочитал стихотворение «Еврейское кладбище».

Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядом
юристы, торговцы, музыканты, революционеры.
Для себя пели.

Для себя копили.
Для других умирали.
Но сначала платили налоги, уважали пристава
и в этом мире, безвыходно
материальном, толковали
Талмуд, оставаясь идеалистами.

Могло понравиться, могло не понравиться, но я убежден – если б те же строки прочитал другой поэт, не было бы никакого скандала. А тут скандал начался немедленно и весьма неожиданным образом – по совершенно непонятной тогда для меня причине громко возмутился умный, тонкий, так много понимавший Глеб Сергеевич Семенов, впервые услышавший чтение Иосифа.

(Могу засвидетельствовать, что вскоре у них установились самые добрые отношения, мы вместе навещали Глеба Сергеевича, когда он захворал. Иосиф читал стихи, а хозяин их хвалил. Эпизод на турнире Глеб Сергеевич очень не любил потом вспоминать, а когда я однажды напомнил ему о нем, он расстроился. И сейчас я пишу об этом отнюдь не для того, чтобы

укорить память этого достойнейшего и незаурядного человека, талантливого поэта с драматической литературной судьбой.)

Однако вернемся на турнир. Иосиф за стихом в карман не лез и в ответ на возмущение своих немногочисленных оппонентов – большинство зала приняло его прекрасно – прочитал стихи с эпиграфом «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку»:

Каждый пред Богом
наг.
Жалок,
наг
и убог.
В каждой музыке
Бах,
В каждом из нас
Бог.
Ибо вечность – богам.
Бренность – удел
быков...

И заканчивались эти стихи:

Юродствуй,
воруй,
молись!
Будь одинок,
как перст!..
... Словно быкам —
хлыст,
Вечен богам
крест.

Это уже было присутствующими работниками обкома партии и обкома комсомола воспринято как непереносимый вызов, и «курировавшая» турнир от Союза писателей бедная Наталья Иосифовна Грудинина, которая через несколько лет будет, можно сказать, головой рискуя, защищать Бродского, вынуждена была от имени жюри выступление Иосифа осудить и объявить его как бы не имевшим места... Ну, с теми, кто стоял за жюри, все понятно, но Глеб Семенов?... И тут, однако, нет большой загадки. Высокий поэт, в своей многострадальной жизни приучивший себя к гордой замкнутости, к молчаливому противостоянию, Глеб Сергеевич оскорбился тем откровенным и, можно сказать, наивным бунтарством, которое излучал Иосиф, возмущился свободой, казавшейся незаслуженной и не обеспеченной дарованиями. Последнее заблуждение, впрочем, рассеялось очень скоро.

Я рассказываю все это не ради мемуаристского удовольствия. Мне важно показать людям сегодняшнего дня, какая атмосфера окружала Бродского и какое впечатление он производил на людей вообще и на власть имущих в особенности. Повторяю – в условиях несвободы, с которой смирилось большинство, свободный человек, даже не посягающий ни на какие устои, все равно воспринимается как мятежник.

А Бродский и был мятежником – не в вульгарно-политическом, но в куда более высоком смысле. Он постоянно в те времена обвинял меня в конформизме – не в общественном, тут у нас не было разногласий, но в философском, экзистенциальном. «Это морская пехота научила

тебя не лезть на рожон», – сказал он мне вечером 2 декабря 1958 года в квартире нашей общей приятельницы Елены Валихан, в том самом доме с темно-синим фасадом, который фигурирует в его знаменитых и тогда и теперь «Стансах»: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать...»

Я не служил в морской пехоте, но в первый год службы был курсантом полковой школы отдельного стрелкового полка, где нас, действительно, обучали по весьма суровой программе. Морская пехота возникла в сознании Иосифа, очевидно, по двум причинам. Во-первых, наш полк стоял на побережье Тихого океана, на Татарском проливе, в районе знаменитого Ванинского порта – о чем я Иосифу рассказывал и писал стихи, Иосифу известные. А во-вторых, нам с ним нравился – не помню откуда взявшийся – американский вербовочный плакат с изображением бравого морского пехотинца и энергичной надписью: «Морская пехота сделает из тебя человека!».

Иосиф вообще был равнодушен к армейской атрибутике. Одно время я носил защитного цвета куртку с погончиками. Когда я приходил к Иосифу, то, открывая мне дверь, он неизменно провозглашал: «Здравия желаю, мой капитан!» Он и сам охотно фотографировался в военной форме. Это, конечно, были столь популярные в те времена хемингуэевские мотивы...

Я, однако, счастлив, что медкомиссия признала его негодным к военной службе по состоянию нервной системы и зачаткам сердечной болезни. Иначе исход мог быть для Иосифа плачевным.

Я рискую столь точно назвать дату нашего разговора, потому что на следующий день он принес датированные стихи, мне посвященные и названные «Стихи о принятии мира». Заканчивались они так:

Нам нравится распускаться.
Нам нравится колоситься.
Нам нравится шорох ситца
и грохот протуберанца,
и, в общем, планета наша,
похожая на новобранца,
потеющего на марше.

3 декабря 1958

Последние строки были, разумеется, ироническим намеком на мое армейское прошлое...

Тем же вечером 2 декабря один из гостей Лены Валихан, Леонид Ентин, живущий нынче в Париже, восхищенно глядя на Иосифа, сказал: «Пока в России есть такие вот рыжие, все будет кипеть!»

Иосиф отрицал целесообразность и справедливость мира – именно мира, а не какой-то там политической системы, – с такой страстью и преклонностью, что хотелось защитить этот бедный мир.

Должен сказать, что при всей нашей взаимной дружеской привязанности, сохранившейся до конца жизни (14 июля 1988 года он писал мне из Лондона: «Какой монетой расплачиваться за верность, кроме той же верности...»), то, что я тогда писал, время от времени его сильно раздражало. Году в пятьдесят девятом у меня было стихотворение, начинавшееся строками:

Ну что тебе? Хочешь хлеба?
Молчи! Я знаю ответ.

И заканчивалось:

Ты все еще хочешь хлеба,
Земная моя душа.

Иосиф реагировал весьма резко. Естественно, в стихотворной форме. Но мне эти длинные «Стихи о пространстве» – в отличие от «Стихов о принятии мира» – не показал, очевидно, опасаясь меня обидеть. Я увидел их только в собрании Володи Марамзина.

Земные пути короче.
Прочны земные вещи.
Земные истины проще
и постигаемы легче,
нежели притчи неба
и путаницы созвездий.

«...Ты все еще хочешь хлеба...»
И за стихами едешь.
Смотрит недружелюбно
солнце твое косое,
как движется по окружности
приплюснутый эллипсоид.

Вторая строка второй строфы – иронический намек на вполне конкретное обстоятельство. Пять лет я работал в геологических экспедициях в Заполярье. Помимо того, что я таким образом зарабатывал на жизнь, я еще и был уверен, что найду там материал для стихов. Пассаж о недружелюбном косом солнце – реакция на привезенную мной из Северной Якутии в пятьдесят девятом году «геологическую поэму» «Жизнь дана живущим», и в самом деле отличавшуюся переизбытком брутальных деталей.

Ему хотелось обратить меня в свою поэтическую веру.

На всякий случай
запомни «вчера»,
«сегодня» тоже
запомни, милый.
Находятся оригиналы,
разбивающие зеркала,
чтоб мир оставался
неповторимым.

И далее он обыгрывал мотив из еще одного моего стихотворения о простоте вещей и жизни – «Я твердо знал, что камень прост, Что прост песок и даль проста...»

Вообще-то, собственно поэтическая жизнь тех лет была с литературоведческой точки зрения весьма и весьма насыщенной. Но если сложный полемический рисунок поэзии Серебряного века тщательно исследован, то подобные явления нашего тогдашнего времени, во многом так и оставшиеся достоянием самиздата, опасаясь, пройдут мимо исследователей.

Уж если до сих пор не исследована скрытая и явная полемика между Кушнером и Бродским начала шестидесятых, то что говорить о явлениях менее значительных.

Иосиф был значительно моложе большинства своих друзей – на пять-шесть лет. Но очень скоро разница эта перестала быть заметной, в том числе и внешне, – он стремительно вырос, стал

его физическое взросление удивительным образом шло вровень с интеллектуальным развитием. В середине шестидесятых годов он ощущал себя – и это было оправданно – уж во всяком случае не моложе меня, несмотря на пятилетний разрыв, хотя в его поведении долго сохранялось много мальчишеского. Незадолго до его ссылки мы выходили как-то из университетского общежития на улице Шевченко, тогда Симанской, он совершенно неожиданно кинулся к лежащей в вестибюле штанге и с огромным трудом, но поднял ее. И был чрезвычайно доволен. Думаю, больше, чем успехом предшествовавшего этому подвигу выступления перед студентами. (И это при тогда уже не очень-то здоровом сердце.)

Вскоре после его возвращения из ссылки мы шли – он, Борис Вахтин и я – по Ленинграду, рассуждая о чем-то, и вдруг Иосиф опять-таки кинулся к высоким старинным воротам из вертикальных чугунных прутьев и быстро полез вверх на одних руках, демонстрируя нам свою физическую форму, укрепленную сельхозработами.

Он никогда не стремился к духовному вождизму, но возможности и место свое понял достаточно рано. А мясорубка шестидесят третьего – шестидесят четвертого годов это осознание своей личности еще более прояснила и утвердила в нем достаточно редкое ощущение – «право имею».

13 июня 1965 года он писал мне из ссылки:

«Я собираюсь сейчас устроить тебе маленькую Ясную Поляну; мое положение если не обязывает к этому, то позволяет. Точнее: мое расположение, географическое... Если тебе что и мешает сделаться тем, чем ты хотел бы сделаться, так это: 1) идиотские рифмы, 2) восходящая к 30-м годам брутальная инструментовка, 3) плен мнений разных лиц... Поэтому смотри на себя не сравнительно с остальными, а обособляясь. Обособляйся и позволяй себе все что угодно. Если ты озлоблен, то не скрывай этого, пусть оно грубо; если весел – тоже, пусть оно и банально. Помни, что твоя жизнь – это твоя жизнь. Ничьи – пусть самые высокие – правила тебе не закон. Это не твои правила. В лучшем случае, они похожи на твои. Будь независим. Независимость – лучшее качество, лучшее слово на всех языках. Пусть это приведет тебя к поражению (глупое слово) – это будет только твое поражение. Ты сам сведешь с собой счеты; а то приходится сводить счеты фиг знает с кем. А вот кое-что практически (ради Аллаха не сердись на меня). Самое главное в стихах это – композиция. Не сюжет, а композиция. Это разное. У тебя в Мятаже главное тоже композиция <„Мятаж безоружных“ – моя пьеса о декабристах. – Я. Г.>: попробуй казнь переставить в начало – что получится? Смрад.

И вот (еще раз прости) что нужно делать. Надо строить композицию. Скажем, вот пример: стихи о дереве. Начинаешь описывать все, что видишь, от самой земли, поднимаясь в описании к вершине дерева. Вот тебе, пожалуйста, и величие. Нужно привыкнуть картину видеть в целом... Частностей без целого не существует. О частностях нужно думать в последнюю очередь. О рифме – в последнюю, о метафоре – в последнюю. Метр как-то присутствует в самом начале, помимо воли, – ну и спасибо за это. Или вот прием композиции: разрыв. Ты, скажем, поешь деву. Поешь, поешь, а потом – тем размером – несколько строчек о другом. И, пожалуйста, никому ничего не объясняй... Но тут нужна тонкость, чтобы не затянуть уж совсем из другой оперы. Вот дева, дева, дева, тридцать строк дева и ее наряд, а тут пять или шесть о том, что напоминает ее одна ленточка. Композиция, а не сюжет. Тот сюжет для читателя не дева, а „вон, что творится в его душе“... Связывай строфы не логикой, а движением души – пусть тебе одному понятным. Они и будут тебе дороги, эти стихи. И от всех мнений избавят. А потом тебе мнений и не захочется. Я, разумеется, понимаю, что ты на все, что я говорил, наплюешь. На здоровье. Но, по крайней мере, будешь это знать, если раньше не знал; а если знал, то вспомнишь лишний раз. Главное – это тот самый драматургический принцип – композиция. Ведь и сама метафора – композиция в миниатюре. Сознаюсь, что чувствую себя больше Островским, чем Байроном. (Иногда чувствую себя Шекспиром.) Жизнь отвечает не

на вопрос: что? – а: что после чего? И перед чем? Это главный принцип. Тогда и становится понятным „что“. Иначе не ответишь. Это драматургия. Черт знает почему, но этого никто не понимает. Ни холодные люди, ни страстные. Я хотел бы, чтобы ты это понял и запомнил. Даже если не станешь применять. Я бы ужасно хотел, чтобы ты применял».

(Чрезвычайно любопытно и значительно совпадение рассуждений Бродского о роли композиции в поэзии с тем, что вспоминает Евгений Борисович Пастернак. Он спросил однажды отца, как у того возникает стихотворение. – «Все начинается с композиции, – сказал он. – Пока нет композиционного замысла, стихотворение не существует. Сколько бы ты ни подбирал строки или вслушивался в ритм, ничего еще нет. Только после возникновения композиции появляется стихотворение, начинается работа»³).

Совсем молодой Иосиф Бродский и зрелый Борис Пастернак, наверняка не сговариваясь, сформулировали сходный фундаментальный принцип поэзии.)

Я, конечно, испытываю некоторую неловкость, цитируя личное письмо, но мне кажется, что сказанное здесь важно для исследователей работы Иосифа, и поскольку я таковым не являюсь, то держать под спудом такую красноречивую декларацию как-то совестно.

Что же до меня тогдашнего, то я, естественно, был далек от того, чтобы наплевать на его советы (не правда ли, все это и по интонации, и по напористости напоминает наставления Гамлета актерам? И думаю, не случайно), хотя, скажу честно, отнесся к ним без должной серьезности...

Удивительное дело – много лет назад двадцатипятилетний Бродский почти буквально сформулировал одно из положений своей Нобелевской лекции.

Но есть тут и еще один аспект – он писал это тридцатилетнему отцу семейства, профессионально занимающемуся литературой, но при всем дружеском равенстве и отсутствии какой-либо иерархии в отношениях я воспринял это «учительство», эту «Ясную Поляну» несколько иронически, но безо всякой обиды. И теперь с полной ясностью понимаю его правоту.

К слову сказать, тут прослеживается некая закономерность – люди такого масштаба часто, хотя бы в общем виде, рано формулируют основные идеи, а затем развивают и усложняют их. Так было с ясно обозначенной в письме идеей независимости. Так было и с фундаментальной для Иосифа идеей о самоценности и саморазвитии языка. Приблизительно осенью шестьдесят третьего года Иосиф принес мне текст письма в одну из центральных советских газет – по поводу надвигавшейся языковой реформы. Очевидно, он быстро остыл к своей идее, а текст остался у меня.

«Дорогая редакция, в окт. ном. Вашей газеты я прочел статью гл. орфографич. комиссии тов. <фамилия не прочитывается. – Я. Г.>. Она меня взволновала, и я счел своим долгом написать это письмо; хотел бы, чтобы Вы его опубликовали.

Под прогрессом языка и, следовательно, письма следует понимать его качественное и количественное обогащение. Письмо является формой, через которую выражается язык. Всякая форма с течением времени стремится к самостоятельному существованию, но даже и в этой как бы независимой субстанции продолжает (зачастую не отдавая уже себе как следует отчета) служить породившей ее функции. В данном случае: языку. Обретая видимую самостоятельность, форма создает как бы свои собственные законы, свою диалектику, эстетику и проч. Однако форма, при всем своем прогрессе, не в состоянии влиять на функцию. Капитель имеет смысл только при наличии фасада. Когда же функцию подчиняют форме, колонна заслоняет окно.

³ Евгений Пастернак. Из воспоминаний // Звезда. 1996. № 7. С. 148.

Предполагаемая реформа русской орфографии носит сугубо формальный характер, она – реформа в наивысшем смысле этого слова: реформа. Ибо наивно предполагать, что морфологическую структуру языка можно изменять или направлять посредством тех или иных правил. Язык эволюционирует, а не революционизируется, и в этом смысле он напоминает о своей природе. Существует три рода реформ, три рода формальных преобразований: украшательство, утилитаризм и функциональная последовательность.

Данная реформа – не первое и не третье. Данная реформа – второе. Ее сходство с первым заключается в том, что на перегруженный фасад столь же неприятно смотреть, как и на казарму. Своим же происхождением она, по сути, обязана неправильному пониманию третьего... Ибо функция, обладающая собственной пластикой, стремится освободиться от лишних элементов, в которых она не нуждается, стремится к превращению формы в свое стопроцентное выражение.

Говоря проще, письмо должно в максимальной степени выражать все многообразие языка. В этом цель и смысл письма, и оно имеет к этому все возможности и средства.

Разумеется, современный язык сложен, разумеется, в нем много можно упростить. Но суть упрощений состоит в том, во имя чего они проводятся. Сложность языка является не пороком, а – и это прежде всего – свидетельством духовного богатства создавшего его народа. И целью реформ должны быть поиски средств, позволяющих полнее и быстрее овладевать этим богатством, а вовсе не упрощения, которые, по сути дела, являются обкрадыванием языка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.